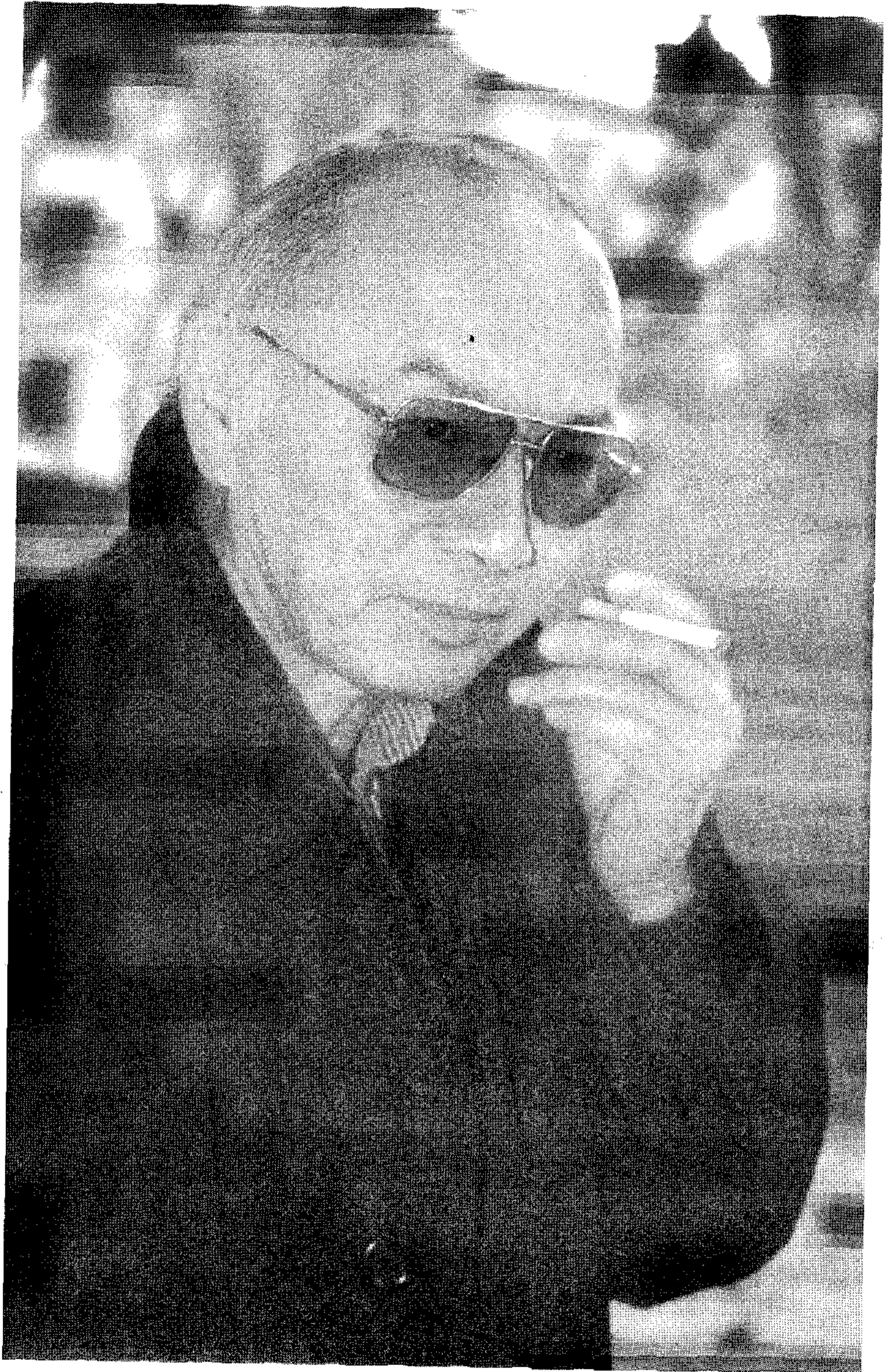




Дюсенбек Накипов

КРУГ ПЕШЛА



891.71-3
Н-217
14

Дюсенбек Накипов

КРУГ ПЕПЛА
/ Роман интенций /

Алматы 2005

ББК 84(5Каз-Рус)7-5

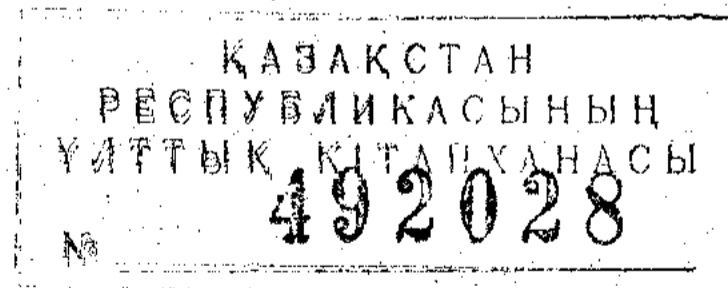
Н27

Н27 Накипов Дюсенбек

Круг пепла. Роман интенций – Алматы, 2005 г. 226 стр.

ISBN 9965-763-19-4

“Круг пепла” - первый роман известного поэта Дюсенбека Накипова. Авторитетные критики и рецензенты высоко оценили роман “Круг пепла”, называя его ярким событием литературной жизни. “Дерзкий замысел...”, “Блестящий стиль...”, “Пленительный эротизм жизни...”, “Это первый полноценный и художественно независимый от западных традиций казахский постмодернистский роман”. Таковы вкратце оценки и впечатления о романе Д.Накипова.

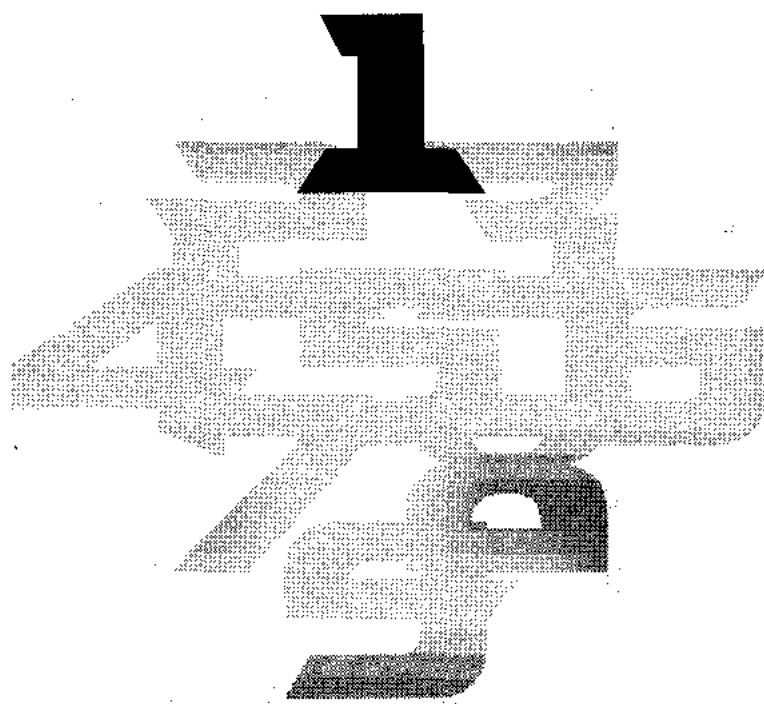


ББК 84(5Каз-Рус)7-5

Н 4702250202
00(05)-05

ISBN 9965-763-19-4

ЧАСТЬ



I

...Вечерело. Отцветала ветиветрия-вековойная, трава хаомная-конопляная-пряная-упрямая хмарь. На широком подоконнике ленно-лежал дымчато-пепельный кот Батман, но если взглядеться, то внешняя беспечная нега его была обманчива: зелено-фосфорные глаза жили-сторожились напряженной котье-кошачьей, не кошерной жизнью... в то самое время – по двору, в траве – меж кустов таясь-кралась черная кошка, совершенно голая и вся сочилась позывом дремучим-чащобным... на ветке тополя сидел пухлый воробушек, топыря свои блестящие глазки и крылышки и, прямо-таки, весь источал хрумкий – легкий запах воробьятины, и радарно чуял-принимал своим плоским, как у кобры, черепом ток его крови под перьями кот... в настенном широком аквариуме плыли-вились-переливались разноцветные рыбки, светясь-проецируясь невесомой виртуально-перламутрово-нежной плотью-деликатесом для вожделения-утоления самого изысканного вкуса-интеллекта гурмана усатого...и, все вместе, вызывали у кота

Батмана столь сильную похоть-охоту-позыв, что всего его хищного интеллекта не хватало для выделения главной жертвы-цели и нарушения этого трехмерно-векторного мгновения-жизни: то ли кошку отодрать без жалости, не то прыгнуть в форточку, сигануть на ветку и хряпнуть воробья-бля, либо проломить ненавистное-странное стекло-вещество и потрохнуть всех-всех рыбок-стриптизерок подводных враз... мм-уу-рр-рьямм... всех вдрызг и махом одним, и отряхнуться от наваждения этого, не то сам треснешь и изойдешь на ошметки-брызги-клячья тлеющей шерсти, что трещит от разрядов ярости нутряной-взрывной... мм-лл-яя-ммурр... и...кот Батман остался недвижим, ибо вспомнил заповедь древнюю (еще от пращуров своих со времен фараонов): ...если хочешь малым телом войти в пирамиду и выйти из нее величием сфинкса и покой обрести вечный, то дождись, котяра, пока две суетные цели не исчезнут сами собой и останется одна, для которой и рожден истинный кот-фараон (для вожделения-обладания-вкушания)... ууммрруу... Батман весь гудел, как трансформатор, изнывая ознобом инстинкта и выбора, но внешне был совершенно спокоен, втягивая в вертикальные щели зрачков медленно убывающий густой свет дня...

...с утра займись делами солнца и испарения росы и попечалься чуть судьбою подорожника что расстается с поцелуем бытия чтобы затем лечить идущих в небыль пилигримов чьи ноги искровавлены о корни древ и десна одряхлевших от ветров камней затем до дня ещё в додненье перемены свои занятия лущением коры обычных греческих орехов и колотьем чтоб перепонки их сварить как если б это был индийский чай и питье целебное оставь для любопытных затем чуть озаботься пробуждением природой зачатых детей чей смех и шалости и плач и есть всезаполнение пустого неба где б не было иначе голубой субстанции любви и чешуи перистых облаков чей зреющий на горизонте гнев опасней будущих тайфунов но а пока они нежны как пасынки и родные дети бытия до наступления жестокого полудня где солнце обреченно ест свои следы чтоб ты узнал затем весь зной всеоткровения расплат вошел в пылающий зенит в безжалостное сердце солнца которое затмит незрелый разум твой по лености не внявшего всей росной ясности утра и мудрости додненья и вот теперь мой зверь ты вновь

стоишь на перепутьях инстинкта перед предлогом слова ещё не произнесенного твоим несовершенным горлом который ныне лишь прямая глотка от хлеба неба и до хлева смрадных нечистот и только так лишь пополудни нам станет явственна физическая связь меж дыханьем и зловоньем небесных и земных начал знаменье будет нам до вечного предела чему могли б мы стать связующей дорогой продолженья от росного утра просамиона к наполненным осмысленной беседой вечерам постчеловека вот так наверно другой упадем мы в ночь от неисполнения наших действий глотателя и испражнителя нам данных совершенств для доброго и верного ведения дел природы и будет нас преследовать в посмертных снах проклятие несовершенного и унесем мы на челе своем тавро несоединимости от утр к вечерам от неба до земли от зверя к сапиенту-самиону тавро непревратимости инстинктов и озарений чувств и потому мучителен так будет нам последний переход в холодные кочевья столь же нерадивых как и мы предтечей но всё же есть надежда что следующей будет просто ночь цикад чей грандиозный хор заглушит рев сердец и тёмный зов инстинктов и мы наполнимся сиянием всех слез и рос излитых и избытых на земле и это назовется просто и банально вновь наступило утро дел и маленьких шагов от протобуквы к смыслу СЛОВА-ТАНЦА...

Два сквера вокруг театра, будто маленькие рощицы. Здесь есть тополя, каштаны, ясень, дубы и... ели. Голубые. Таких, пожалуй, в других городах и вокруг других театров нет. Впрочем, сейчас, в эти самые дни зрелой и теплой осени скверы скорее похожи на пейзажи импрессионистов или готические цветные витражи. Багрянь, золото, зелень, серебристая сепия елей в контрасте с индиго небес. В таком смешении красок, на чей-то взгляд может быть и есть элемент эклектики, но мои глаза всегда отуманены, когда я здесь. К тому же я верю, что палитра осени всегда совершенна, словно ее неведомым образом коснулась рука гения, ведомая высшим замыслом. Буддийская пышность форм и листовенное таинство суффизма. Иные деревья непроницаемы, другие открыты, просты. Но вот, что огорчает. Перед фасадом театра дурацкий фонтан. С ним

смиряться, только если он работает и в струях его проблескивает радуга. Но зимой он ужасен. Саркофаг какой-то. Зато позади, как утешение, на грандиозном заднике неба прописана возвышающая дух панорама сине-снежных гор. Ажурные вершины гор напоминают легкую коронку на головке принцессы-балерины. По вечерам, в сумерки, горы похожи на гигантский орган и кажется слышишь его тихое, темного низкого тона, звучанье. Однако, всё это пейзажное обрамление ничего бы не стоило, если б не Театр! в центре. Его архитектура проста и находится, по-моему, в гармонии с городом и природой. (Во всяком случае, так было во времена, когда его возвели в этом месте перед войной). Мне нравится задумчивость театра. Он словно источает мысли, настроения и чувства. Это какая-то небывалая целительная смола, концентрированная эманация творческих энергий артистов, чистая интенция их душ. За долгие годы театр напитался фантазиями, эмоциями и судьбами всех людей, здесь работавших, вернее, живших здесь всей силой человеческих желаний-страстей и эта невероятная смесь высокого и низменного, пропитала театр насквозь, и он сам стал живым организмом или особым состоянием духа. В театрходишь, как во время, но не как в обычное время нашей жизни, а в иное, прозрачное, которому в отличие от нашего нет конца.

...среди ясного дня внутрь лезет-вращается черная особая растительность без имени слепая вязкая масса и закрывает ромашки-воспоминания о том что было теплым и легким, или могло быть... у человека за холстом вылезают волосы (ощущение именно такое)... обнажается череп, который медленно разъедается бесцветной кислотой и открывает бело-розовый с синими прожилками ландшафт мозга с огромным разломом посередине... надо быстро уловить и записать это и ещё какое-то легкое движение-искорку там внутри почувствовать тихую вибрацию кровотоков и тление мыслей... потом опять процесс закрывания-зарастания-затемнения а на холсте только вязкий пейзаж убивающий память о зеленом и добром когда-то... медленно – слишком долго с треском ломается тополь (почему тополь?) падает мертвой птицей в мокрое-черное и дрожит тонущей кроной – бр-р-р... ось времени-дня-мига понемногу сдвигается (назад-вперед, потом разберемся) и кажется пора выходить...

Там, где он лежал обыкновенно по ночам, вокруг и над ним была совершенная темнота. И тишина. Мрак, столь глубокий, мог быть только здесь, в его «норе-обиталище». Сыровато, слегка душно, особенно в этот час. Запах анилина агрессивен, но это неважно. Зато он чувствовал себя здесь в полной безопасности, наглухо огражденный от всего, кроме себя (вернее, того, что внутри). И хотя ничего в этот миг не было видно он (лежа навзничь) ясно представлял себе уходящие вверх кулисы вчерашнего спектакля (шел старинный балет «Павильон Армиды»... мечта и прелесть!., а затем опера «Дидона и Эней», с балетной сценой), ряды колосников, потухшие слепые глаза софитов (стоокого Аргуса, как он называл для себя), решетки, тросы – весь волшебный и ещё вчера живой организм сцены спал сейчас над ним. Сам он лежал под сценой, в пространстве полном механизмов, стоек, проводов и особого запаха суверенности (ведь здесь почти никто не бывал, тем более ночью или по выходным-понедельникам). В уголке, за старым подъемником (не работавшем еще до того дня, когда он здесь впервые появился) он устроил себе лежбище из обветшавших декораций, задрапировался каким-то «сказочным» ветхим супером, а укрывался бывшей кулисой серого цвета (вернее, грязного). Все это он натаскал потихоньку давно (когда? – не думать!) и никто из «верхних» этого не заметил, как и не знал того, что он тут обитает. Еще у него была лампочка на проводке, но он ее уже давно не включал (однажды его чуть было не обнаружили). Лампочку эту он встроил в канделябр из спектакля, сделанный под «барокко» и бронзу (очень красивый). Но спектакль сошел, а раритет оказался у него. Он знал тут все наощупь, на запах, на скрип и ориентировался лучше, чем там, наверху, когда выходил на свет, в мир реального театра. Уголок этот был двух метров в длину, чуть больше метра вверх и в ширину, упирался в капитальную стену театра (сразу за подъемником) и был ниже «уровня земли». Здесь никогда не бывало скучно или одиноко. Сейчас он внимал этому мраку и родственной ему тишине и наслаждался полным растворением во всем этом совершенстве тождества – ночной сцены и беззвучия. Вот так, лежа в своей норе, он однажды научился мысленно сдвигать старый подъемник... тот неслышно поднимался вверх, на сцену, и оказывался в любимых сценах-эпизодах в любом из виденных

им (накануне или раньше) балетов и в такие минуты уже никто не мог помешать ему видеть и слушать особый (только для него) спектакль. Он гордился своей тайной властью над подъемником, своей способностью вернуться в реальность каждой давным-давно кем-то станцованной вариации, мог повторять особо удачные исполнения каждой ее части и отдельные движения. И, особенно, когда танцевала Она – Балерина!.. Подъемник и он с ним медленно вплыли в сияние сцены, невидимые ничьим глазам...

...Вчера в «Павильоне Армиды» Черепнина ей удалась та маленькая грациозная вариация в сцене дриад...



Особенно, средняя часть. Шедевр Фокина и Ее. Эти крохотные легонькие «temps saute» на пуантах, остановка с невинной улыбкой в rose... и снова «скок-скок-стоп»! Это надо было видеть! Розовая с аквамариновыми вставками тюника, тоненькая коронка и листовенная диадема на головке... И глаза! Счастливые и умные от восторга собственным умением... Вообще, это «glisse»-скольжение в «arabesque» мало кому удавалось с такой точностью. – Нет, надо еще раз посмотреть. Вот это «glisse», как будто это не сцена, а гладкий лед... Подъемник чуть спустился вниз и вновь поднялся вместе со всеми отступлениями в музыкальных тактах и построениях кордебалета. – Пожалуй, на этом надо сегодня остановиться. И рассвет скоро, - шептал он себе, как вдруг, его голову на этой мысли-самореплике пронзила знакомая острая боль, в глазах потемнело (там, внутри, в зрачках и дальше – у затылка, словно воткнули иглу...) Он осторожно двинулся в норе и стал прислушиваться к тому далекому, что происходило сейчас в театре и вне его...

...Ось времени-часа-мига сдвигается с трудом с болью в сердце ударило обыденное черная трава стала разлипать свои неисчислимые частички слепоты и кисло пахла своей немой и мокрой нелюбовью к высоте и сиянию сцены, но часть этой черной травы-нелюбви всегда оставалась здесь под сценой просачивалась в землю и ждала своего тайного часа цветенья среди ночи ведь у нее теперь

был Он – ее неожиданный возлюбленный приходивший-вползавший в ее владения каждую ночь... тихий-смирный нежный-грустный свидетель ее еженощного цветения-триумфа...

Было около семи утра. По самым разным звукам и приметам он знал, когда ему надо было выходить из театра. Сейчас как раз был такой момент. Вахтеры уже проснулись и пошли справлять свои нужды, и еще не приступили к передаче смены. Он тихо вылез из норы, безошибочно прошел по лабиринту подсценных механизмов, открыл дверь машинного отделения, пролез в люк вентиляции, где в конце находилось небольшое окно, выходящее на глухой служебный двор. Там было темно. Слегка приотворив окно только ему ведомым способом, он огляделся, послушал некоторое время звуки внешнего мира, и с необычной грацией выскользнул наружу. Раздался легкий щелчок затворенной створки. Через мгновение он растворился в предрассветных сумерках, среди темных кустов театрального сквера.

...Вознесенные – все четверо вновь собрались там, где в прошлый раз они оставили круг непла. Сели и, как будто, чего-то ждали. Знали-ведали они о своем первородном одиночестве наблюдающих извне за яростным потоком жизни, но не могущих броситься в него и плыть, как люди простые, не ведающие ни дна, ни берега. Им – вознесенным надлежало только иногда посещать этот круг непла и вспоминать первый костер на заре...

...Последняя предрассветная звезда оглядывала свой небосвод и остановила взгляд на голубой звездочке, которая ещё светила в своем небе. Она любила далекую сестричку-близняшку по вселенной, особенно в эти часы, когда других звезд не было видно. От голубой планеты-сестрички всегда шел очень теплый и ровный свет, родственный ее собственному спектру. Этот свет она улавливала всем своим ядром-нутром, и не было дня в миллионнолетиях ее бытия, когда бы ей не передавалась частичка грусти далекой голубой сестры, которая в этот час становилась все бледней и печальней, пока не исчезла на небосклоне. – Пока, сестричка, не грусти, - послала она свой сигнал из созвездия Близнецов...

Балерина проснулась, словно ее окликнули издалека. В спальне было тихо. Светало. Она спустила свои точеные ножки с постели, привстала. В щиколотку кольнуло. – Опять, - с досадой подумала она. – И спектакль был такой легкий, всего один акт и пара вариаций. А вот ведь болит. – Покрутив великолепной ступней с высоким подъемом, Балерина встала, и только пепельный кот по имени Батман, мог сейчас близко видеть дивное зрелище: великолепные щиколотки своей хозяйки - от них, от овальных маленьких ядрышек пяток уходили вверх тонкие белые стволы сухожилий ахилловых, постепенно округляясь в пахучие яблочки икр и исчезая-таяли в их нежном и сильном совершенстве, яблочки икр – «бутоньерки» в свой черед передавали свою стройную эстафету изящным ямочкам у колен, эбонитовая медальонная завершенность которых перетекала в мраморный теплый капителий бедер, и они, в свою очередь, соединяясь с коринфским каноном малого таза, вплывали под манящие своды шафранного храма. – Куда смотришь, бесстыжий? – прошептала Балерина, глядя на фосфор немигающих глаз кота, разглядывавшего снизу всю волшебную архитектуру живого женского тела-храма (грядет ящер-порушитель-мощнохорь), и пошла на кухню. – Разве так ходят? – подумал Батман и изящно последовал за Балериной.

В небольшой квартирке, с вполне ординарным интерьером, единственным местом приложения эстетических вкусов хозяйки была ванная. Ее скорее следовало назвать розовой шкатулкой для единственного бриллианта – Балерины. Она встала перед высоким узким зеркалом и, по обыкновению, сбросив ночную сорочку, стала разглядывать себя. Для Балерины ее тело являлось, прежде всего, инструментом профессии, и инструмент этот нуждался в ежедневной оценке его состояния. Но даже суровый взгляд не мог опровергнуть очевидного. Эту голову, несомненно, сделал некогда византийский мастер и дал этому шедевру тысячелетнюю жизнь, мудро решив, что лучший способ сохранности его творения – это семя, которое он яростно вбил в янтарные соты своей соседки, а затем нежно водя пальцами вокруг пупка, вылепил в середине ненасытной матки этот чистый лоб, вписал в него темные с золотом глаза, тминный выгиб носа с тонкими ноздрями, а под виноградками губ поместил белое яблочко подбородка. За образец шеи

он взял ствол белого молодого тополя, но в семени ствол получился лучше, вырастая-врастая в белые берега плеч... «Белая слива» и «слива белая» - можно было сказать о грудях, из которых сочился розовый сок сосков, из белого-сдобного хлеба он вылепил этот сладкий, пахнувший дымом живот с маслиной пупочка, завершил его пухом, что обронули летящие к югу лебеди, и обозначил розовый вход – врата в шафранный рай. Сладкий спелый инжир – вот что было бедрами, и все это стянуто тугим бесцветным ветром, (кому доверено право хранить тонкий и нежный силуэт талии?... А?...). А сзади, на все это, уже в наши дни смотрел кот Батман, облизывая усы, воображая: как он ловит этих рыбок (ножки ее... мяу-мяу-рр), которые плывут-заплывают в ее шафранный рай, а спелые абрикосы ягодичек сливаются в изначалие спинки и уходят в тонкое течение талии, что узким руслом своим втекает в теплое поле спины, где у самого края чащи волос, вдруг, вздрогнули и зашевелились резвые собачки – лопатки (нет, только не это). Батман ухмыльнулся (собачки были далеко) и пошел на кухню, едва увидев, как Балерина – хозяйка его, села на унитаз, а такие запахи он не любил.

Балерине недавно исполнилось сорок лет. А это уже был звонок для примы. Вчерашний спектакль после тщательного анализа, который она сделала, сидя за туалетным столиком, стягивая волосы в узелок, заставлял задуматься. Когда? Завтра, через сезон? Уходить? Нет? Как быстро все прошло-улетело. Что, кроме танца, у нее есть? Когда-то у нее был муж. Он любил ее страстно, но то было животное влечение, как потом оказалось. Взять лучшее и ни с кем не делиться (такова была его философия «развитого волосария души» - формула из двух круглых определений и одного стоячего понятия). Как же она вышла за него? Ах, да! Он был хорош собой, очень щедро ухаживал, а главное – муж был заведующим базой снабжения, а в то время (в житейском плане) это дорогого стоило! Ее зарплаты начинающей балерины едва хватало на оплату комнаты, на еду, а жить на хлебе, картошке и макаронах ей было нельзя, да и одеваться надо было как-то. А тут всегда свежие фрукты, хорошая рыба, соки. Вкусно, калорийно, и никаких забот. И джинсы-заветки, и жатка-рубашка, и туфли, и всякие фуфли. Отличная 4-комнатная квартира рядом с театром. О чем ещё можно

было мечтать?! И она пошла за него. Но если б она знала, какой ценой придется за это платить. Муж был бешено ревнив. На этапе ухаживания он восторгался ее танцем, приносил корзины цветов, был внимателен к подругам и партнерам, но после медового месяца – отпуска все изменилось. Он больше не ходил на спектакли, а только ждал ее у служебного входа после репетиций днем, поздними вечерами, по окончании балета. Дома он сразу начинал допрос: почему? кто? что делала? отчего задержалась? а партнер? женат? разведен? И что самое ужасное, он обнюхивал ее всю, одежду, белье, рылся в сумке, затем в ярости овладевал ею и опять нюхал, допрашивал. Не поверил, что она зачала от него, считал дни, месячные, вычислил лишних три дня и... и заставил сделать аборт. Потом уже корил и за злосчастный аборт, и за то, что она уже не могла больше забеременеть. Мысль о той свободе блуда, которую ей дает безопасность – невозможность зачать (надо же до такого додуматься), совсем сорвала его с тормозов. И, однажды, после того, как он ударил ее партнера, вышедшего вместе с ней после одной премьеры и чмокнувшего ее, по-балетному, в щечку (так поздравляют в балете), она ушла от мужа и развелась с ним.

А потом появился – возник и упоительно-воссиял ее сладкий-пресладкий флейтист. Пульт его в оркестре был расположен так (сидел спиной к сцене), что он не мог видеть ее танцующей, но зато увидев ее, однажды, в коридоре, засмеялся-улыбнулся и так легко-беззаботно обнял-поцеловал-чмокнул, и стал вдыхать запах волос, что незаметно втянул ее в себя всю сквозь ноздри, и она даже не поняла, как они очутились в ее гримерке, где упали-пропали в угаре-дурмане. Впервые она чувствовала мужчину не только в себе, но и себя в нем, ведь он вдыхал ее теперь со стоном и жадно, и жарко, и жутко-пресладко, а хорек его неустанно вбегал-выбегал в ее норку-из норки и так ловко и с таким любопытством-неистовством находил самые тайные, укромные-скромные уголки и щелки, и изливал в них белый мед свой, и знаки разные всюду он оставлял – шустрый и сильный хорчик-хорек, а она щедро орошала его своим вином белопенным, пьянющим, чтобы

дрожал-трепетал от блаженства хоречек его упругий и быстрый. В это-то сиятельно-легкое, всепоцелуйное время она обрела свой неповторимый стиль и стала Балериной. Только любовь и только танец. Танец любви и любовь в танце. Ничего больше, ничего кроме, и все-все вместе. Неделимо. Как Он и Она. Он – белый Нар, а Она – белая Аруана. Появление собственного стиля, манеры, своего лица в танце первым заметил Док и удивился столь внезапному рождению чудесной бабочки из кокона эгоистичного тела, и стал еще внимательней наблюдать не только танец ее, но и весь воздух над ней в спектаклях, пока не заметил легкое сияние-мираж, видный даже при полном свете сцены – то был Дух, который вселяется в тело не каждой балерины. Великая Бабочка вышла из кокона, из тела и стала Балериной!

Признаки первых волшебных метаморфоз появились на премьере «Сильфиды» Шнейцгоффера (хореография Тальони-Петипа), в которой Балерина дебютировала благодаря случаю. Бывшая прима заболела, как раз накануне, и из третьего состава, откуда путь много сложнее, чем простое вычитание «3 – 2 = 1», Балерина сразу вышла на прогоны. Хорошо усвоенный текст, уверенная техника (все-таки, московская школа) не могли еще скрыть некой угловатости женщины-подростка, понятной робости перед правом-ответственностью быть первой, быть героиней, но Док все же увидел, как внешняя, привитая школой и репетициями, дисциплина танца уступает место жизни в танце. Чаше это происходило в моменты, когда в музыке балета звучала тема флейты.



С темой флейты (особенно соло), в выверенных сильных движениях, а главное, в самой Балерине появлялась такая обволакивающая нежность-слабость, такая неземная легкость и поющая грусть, что над танцующим телом возникал ореол-дух: тонкая пастель улыбки на ее лице неприметно переходила в тень тайной печали, но глаза всегда источали любовь, как если бы любовь совершалась единовременно, в теле, душе, в руках обвивающих, сто-

нах вздымающихся, в сердце взволнованном, в стане послушном, в бедрах отзывчивых, в головке склоненной...

Между тем, стремительный, как знаменитый бег «Джульетты-Улановой» или полет «Сильфиды-Тальони», роман Балерины с флейтистом продолжался. Их любовь началась в театре и была похожа на неостановимый снегопад из горячего снега и короткого мороза обмираний. Они любили друг друга всюду: в молчании темного зрительного зала, днем, меж кресел, в ложах, среди пюпитров оркестровой ямы, когда там никого не было, на терпко пахнувших анилином свернутых тюках кулис после спектакля, в нишах осветительских балконов, в хоровых классах, среди прохлады декорационных складов, в мастерских по реквизиту и аксессуарам, когда там кончался рабочий день. Театр был огромен, и только он мог вместить и принять их запретную, как истина истин, любовь. Одно ее огорчало. После первых поцелуев взасос, в обморок, в небо, он перестал ее целовать в губы, в зубы, в рот, потому, что берег свои губы – инструмент флейтиста, только покрывал ее всю бисером мелких поцелуйчиков-чмоков, вызывавших изморозь на коже и узоры инея там, куда неустанно бегал его любопытный хорь-хорек. Флейтист был ужасно беспечен и так очаровательно непосредственен, словно ребенок в теле мужчины, и уже совсем, как шаловливый младенец, резвился на ней, в ней, постоянно творя хаос в её норке-норушке, щелке-пещерке, но мог и возлечь-вонзиться, будто хотел порушить-сломать маленький храм – шафранный рай. О, это был упоительный сезон двух прекрасных бабочек под пение флейты, танцы плоти, счастливые визги хорька в просторах пушистого рая, под священными сводами театра. То была общая тайна – их и театра. И чем спонтаннее становилось их взаимное тяготение-взрыв двух человеческих ядер-орбит, тем пронзительнее звучала флейта в оркестре и трепетно-строгим был танец Балерины.

...ужас-восторг зрелище рождения бабочки из кокона содрогание фаллоса - половодие лона - благодать соития рапид крупный план бабочки крылья из инея - каждой по году-сезону флейтист-балерина каждому по мигу и кокон опустевший мертвой личинки солнечный ветер звезда на исходе...

Это случилось-кончилось просто, в конце сезона. Флейтист

наш был беспечно женат, а накануне романа-тумана с Балериной у него родилась дочь. И вот она – годовалый ангел, умерла. Он пришел иссиня-розовый, беспечность слетела с него, как кокон-кожа, шепнул ей – прощай – и ушел. За ним струился дым раскаяния-покаяния и посмертная невозможность быть счастливым. У них никогда не было разговора о его жизни вне театра и сада их любви, как не было и бесед про балет. Он так и не увидел ее никогда танцующей на сцене, ибо место его в оркестре было таким. Обратным. Но Балерина поняла, что это судьба, и теперь ей остался только танец, и неизвлекаемая музыка флейты в печальной душе. Флейтист уволился и уехал с женой из города, а Балерина осталась в театре.

II

...при всей внешней безмятежности жизни города за него всегда приходилось беспокоиться, словно он был большим, непомерно быстро растущим, ребенком. Его бесспорные младенческие достоинства сменялись шалостями более взрослых лет, а позже дикими выходками и жестокостью отрочества и молодости (так растут беспризорники или дети, у которых нет одного из родителей, а порой казалось, что он вообще был зачат на стороне, в грехе и блуде, ему о том непременно некто намекал шепотком). И все это слой за слоем накладывалось на его характер и возможно оттого он и стал таким сложным и непредсказуемым, а сны его были сумбурны и кончались криком на рассвете. Еще давно, в детстве, город был насмерть напуган. Это случилось однажды, тихой ночью: земля под ним чудовищно сотряслась, прыгнула даже, и вокруг раздались суматошные крики— вопли— визг и плач— рыданье, вслед за этим наступило утро видеть небывалые разрушения вокруг и в нем: широкие дымные трещины в земле, а еще глубже, в людях, враз потерявших свою беспечность. Но этого будто мало показалось природе— мачехе или тому, кто притаился за ней: к утру стал нарастать немотный гул, столь низкий, что собаки испустили кал, кошки метнулись на деревья, а коров рвало зеленой кашей. И на это смотрели круглые обезумевшие глаза овец и коз... что-то треснуло... небо лопнуло посередине, как белый неспелый арбуз...

в прореху ринулась черная лава грязи... впереди летели—прыгали огромные валуны, будто архары непомерные из камня... и тихо, миллионами слипшихся желто-синих гадюк, извиваясь и ширясь, тонкой пленкой потекла смертная, мутная жижа, мгновенно и молча углатывая все, что попадалось ей на пути... такое этот город и все, чем он был в то время, дрожащий и испуганный (успевший разве что спасти часть себя и души своей), забыть не мог, и рос диковато, нелепо, не веря больше ни небу, ни горам, ни тишине самой — предвечерней и утренней... так вот за город сей всегда приходилось беспокоиться и тревога была с той поры частью его взросления и ... но он остался жить — пребывать здесь, как то предписано судьбой и учился обуздывать страх...

Отсидевшись немного в густых кустах сквера, Гевра побродил по рассветным улицам, вернее, по тротуарам, обсаженным деревьями, по дворам, и только ему известным уголкам центра города, которые почти не просматривались. Теперь он шел к продуктовому магазину. Ему удавалось быть неприметным, и он сам изобрел этот метод скрытной ходьбы: приставал к стволу дерева, если кто-то шел навстречу, или приседал, как бы зашнуровывая ботинок. Способов хорониться было много, и его для других, вполне нормальных горожан, практически не существовало, как собственно и их для него. На глаза его всегда надвинута кепка (из прежней жизни он знал, что они у него выразительны), а одежда (и зимой, и летом) скрывалась под серым рабочим халатом. Уже несколько лет он умудрялся быть невидимым, что в условиях контролируемого общества можно назвать феноменальным достижением. Секрет состоял в том, что он был видим и контролируем частично, так сказать, фрагментами, ровно настолько, чтобы не встревожить систему и не включить программу поиска, идентификации и прочее. После того провала в памяти, отсекающего из-под него все опоры и связи нормальной жизни обычного гражданина и куда ему не было возврата, ему до сих пор удавалось существовать невидимкой, точнее полуневидимкой. Видимо, случившееся с ним Нечто отняло у него все внутренние силы и он как бы, временно, заморозился, интуитивно копя силы для неизбежного наступления момента истины о себе прошлом. Вот таким, мертво-живым — видимо-невидимым, он и зашел в магазин после открытия, купил три

бутылки кефира, хлеб, консервы, сухари и быстро вышел. Здесь давно привыкли к этому немного странному, но вполне обычному рабочему человеку, который почти не говорил, больше показывал – «это и это», клал на прилавок деньги, забирал сдачу, бормотал – спасибо, уходил. И все. Ничего больше в памяти продавцов не оставалось. После магазина, в сквере, он быстро скинул халат, бросил его в сумку и спокойно подошел к служебному входу театра, молчаливо кивая редким в этот час (около 9-ти утра) работникам и артистам. В проходной он кивнул вахтеру новой смены (его тут знали все) и на вопрос: - Как ты, Гевра? - привычно бормотнул: - Нормально. Привет, - и прошел в подсобку для рабочих сцены. Это как раз и были те короткие моменты частичной видимости и контроля: вахтер тут же забыл о нем, занятый своим нехлопотным делом. Гевра уже много лет состоял-служил рабочим сцены, а таких тут никто особенно не замечает. Есть и есть: таково его место или функция в большом организме театра.

Пи-ий-пи... не родитесь богомол... фрии-зз... самец богомола обречен на любовь и смерть... гвв-аа-рт... ждет его самка богомола на осень, ждет, вкушая соитье богомолье, смертоносное... тт-уу-зз...

Вот и осень пришла, и в луну желтеющих трав, от тлена растений, от гнили болот и падали вонной вошла в богомола любовь неодолимая смертная, одна и последняя на жизнь богомола-самца, и любовь та прозрачная-сильная поначалу вошла в него всей желтизной увядающих трав и стал он желтым весь изнутри и снаружи, как если б он был коконом солнечного луча покинувшего оболочку свою для дел согревания хладных созданий: таким вот легким и желтым стал самец-богомол от любви жестокой палящей и пошел на звук на позыв самки богомольей-возлюбленной-обильной насекомопрекрасными чреслами, запах-дурман-ядосладный ему посылающей из своей белой вулканной вульвы-вагины, богомольей богомола о сотворении племени тварей членистоногих и странных, и нашел богомол-великий избранник любви-смертоносный тот след-тот запах

и весь, сотрясаясь от звука-позыва самки возлюбленной, вошел своим тонким и твердым стилетом в ее самое семяприемлище щельное-клепнехватное-огненное, и стал богомол-жертвоносец-самец исходить в богомолку-богиню свою семенем чистым, и спел ей высокую песню – восторг за счастье-соитие любви неотверженной, и стал извергаться-дрожать-трепетать, а самка-богомолка-боготворимая его приняла не только вагинальной-вульвой-щелью-ущельем клепнехватным, но всего целиком, и медленно стала его, самца-богомолка-страстотерпца любви поедать с головы, пока трепетал он в великом благодарном оргазме любви своей жертвенной, пока не съела, всего вплоть до стилета истончившегося до единственной капельки красной крови, что была в нем... не родитесь богомолком самцом самотворящим, не влюбляйтесь в луну желтеющих трав, а впрочем?! Кто знает, может так и надо любить, богомоля-боготворя и до смерти?..

Гевра никак не мог объяснить себе, почему вместо всей его прежней, до театра, жизни ему постоянно слышались некие древние песни, смысл которых он не понимал. Больше того, когда они звучали в голове, он постоянно видел смутные картины далеких эпох, еще более затемнявших таинственные тексты этих песен. И картины и песни безымянного древнего времени постепенно заполняли его опустевшую память, и спасали от приступов безумия и отчаяния, которые словно жестокие злобные существа охотились на него в полях и чащах одиночества, особенно в ночные часы, или когда лил дождь. Вот так, отлученный судьбой от долины собственной памяти, скрытой туманом, убегая от псов одичания и безумия, и слушал Гевра те древние песни.

Из песен самионов:

...ишш-ий-йее... много травы, там кролики, гнезда, змеи, лови, хватай, ешь и бойся... ее-ий-ууу... надо немотно ведать... ууу-оу-оа... плохо многое знать на словах, нюхай и щупай, тащи из норки сурка... ааа-иуу-опрр... чрево девы не имеет силы зачать без удара, вали ее, повали и норку обрушь... ррр-ияй-ишшш... самцы – хлеб самок, бойтесь их... ий-яурр-ишшш-воуу... душа может знать, но Осьмихорр всюду... уу-ишш-юю-уввахх...

Как обычно, около половины десятого утра, Балерина вошла в театр, в гримерную и стала переодеваться. Другие балерины еще не подошли и ничто не отвлекло ее от прелюдии: чтобы аккуратно натянуть трико, одеть купальник (сегодня, пожалуй, черный) и приступить к подбору туфель. Для станка, "adagio"-середины и начало "allegro"-прыжков она выбрала мягкие, старые, в которых танцевала еще неделю или чуть больше назад, аккуратно обернула тесемки вокруг щиколоток и завязала своим фирменным узлом. Все это дело было привычное, почти автоматическое, но именно в эти минуты шел настрой, надо было «слушать» ноги, тело и определить, насколько сегодня можно выложиться на классе. Класс – это святое, и в последние годы стал для нее ритуалом, как для античных жриц воскурения трав, и почти заменял секс. Удачные классы доставляли особый «оргазм», понятный только посвященным. Когда стали подходить подружки (разные, веселые, озабоченные), Балерина уже натягивала связанные ею самой «шерстянки», взяла еще свежие, со вчерашнего спектакля пальцевые туфли (на всякий случай, если захочется «фуэтнуть» - повертеться) и накинув халат, побрела в зал. Здесь уже грелся ее партнер, с которым она перекинулась парой фраз о том-о сем, и они стали разминаться вместе. До класса надо успеть пустить кровь, потянуть жилы, настроиться на класс, ежедневную кайф-каторгу всех обреченных на танец. Зал быстро наполнялся артистами балета (молодыми, корифеями, солистами, «кордяшниками»), но здесь в классе они были равны перед азами классического танца. Пришла концертмейстер, красивая влажная женщина, и к ней сразу потянулись жеребчики-молодь. Но вот гул приветствий, хохм, разговорчиков стих. Вошел Док, старый мэтр. Учитель. Встав лицом к станку-инквизитору, Балерина спиной чувствовала «глаз» Учителя и была теперь всецело в его власти. Услышала его послание: «Battman tendu, вперед, в сторону, назад, demi-ptie по первой позиции, с правой ноги, с левой, и обратно, 4 раза, 64 такта, две четверти, медленно, затем port-de-bras. Поехали».

Концертмейстер тронула клавиши и началось. Док медленно шел вдоль станков, выщелкивал пальцами темп, вглядываясь в спины артистов. Он знал их наизусть (половину из них, помногу лет), но ему надо было почувствовать их состояние на этот и

каждый другой день, поймать тот ритм, мелодию и основное задание, которое объединит их и сделает Труппой, особой общностью, способной создать спектакль – Балет! Всякий раз это требовало новых усилий и всего арсенала профессиональных и психологических приемов. Док начал нагнетать свой знаменитый магнетизм, смесь его авторитета, знаний, желания самих артистов вновь постигать «азы» танца, чтобы в итоге, когда он перестанет через две-три комбинации щелкать пальцами, в этом зале, в самих артистах – начнет «щелкать». Балерина спиной почувствовала, как Док проходит возле нее своей неслышной походкой, холодный и непроницаемый, и старалась вжаться в первую позицию, в *batteman*, в *pié* так, чтобы вызвать его внутреннюю улыбку одобрения. – Кажется, пронесло, – подумала она, и в этот миг долгожданный ток ударил ей в самые кончики пальцев, и все тело вытянулось в струну, на которой можно было теперь сыграть любую гамму движений: *tendus*, *fondus*, *doubles frappes*, *pti* и *grand-batteman*, *adagio*, *allegro*, и дальше, и больше, выжимая из себя пот, лень и страх перед совершенством.

Класс являлся для Учителя неким длительным стоянием-движением во времени и в себе, что впрочем не препятствовало мыслям-воспоминаниям... Лет двадцать тому назад, он – Дока стал первым партнером Балерины. Это было уже на исходе его сценической карьеры, внешне вполне успешной, но если подумать... Когда-то он учился в хореографическом училище, в «Вагановке», в классе самого Пушкина, супер-педагога и мэтра классики. Рядом с ним, на станке, однажды очутился неистовый татарин – Рудик. Им тогда было по 16 лет. С тех пор классы превратились в яростное соперничество, и в этом танцевальном ринге Рудик бился против него, и против всех. Дикое честолюбие «татарина» подстегивало всех «коренных», ведь он пришел в класс позже и отставал от «сверстников» в школе. Только тихий и благостный Пушкин умудрялся держать весь класс в узде, шепотом давая свои волшебные комбинации. Порой соперничество переходило в банальные драки (вне класса, разумеется), но шло всем на пользу и, как оказалось, искусству танца тоже. Ленинград тех лет (середина 50-х годов) еще залечивал блокадные раны и лучшим бальзамом для этого, на взгляд Пушкина, являлось искусство – чудо русского балета.

И сейчас Дока ощущал то благостное умиление-восторг, который охватывал его в Мариинке, где царили Шелест, Брегвадзе, Дудинская, Сергеев. А какие балеты-шедевры шли! «Спящая красавица», «Баядерка», «Раймонда»!!! О-о-о! Это надо было видеть! Потом? Потом он приехал работать в этот театр, в столицу степного края, Алма-Ату, а друг-соперник Рудик остался в Питере, по праву и по выбору судьбы. Дока, как и Рудик в Питере, быстро стал лидером труппы, танцевал много «классику» и советские балет-опусы. В то законсервированное время никакие индивидуальные прорывы в «космос творчества» не могли заглушить мысль о том, что мечта о свободе, хотя бы в танце, была обречена изначально. Когда он услышал о том, что «бешеный» Рудик рванул «за кордон», то Дока внутренне рухнул и понял – мечта о свободе танца улетела и ему осталось лишь дотлеть. (И Соловей?.. Он тоже. А Соловушка летал ведь высоко, выше танцующей птицы, летать выше казалось уже невозможно! А перелететь сетку-кордон не смог. Задохнулся в клетке. Не пережил и пуля остановила его в полете. То ли охота, то ли неволя. То ли свой путь к свободе? Эх-х...) Сам Дока спасся танцем, вернее, эхом танца – педагогикой, и вскоре окончательно умер в учениках...

Учитель очнулся и сказал: - Теперь *adagio*. *Pas*-шаг, первый *arabesque*, *plie*, шаг назад, *attitude*, *plie*, *renverce*, *pas-de-burres*, *pirouette-endedane*, *pose* ! Поехали...

III

К своим 7-ми «оносамным годам» Раль уже умел уходить от ловушек всеобщего права. Раль был по натуре творцом, что порицалось S-конституцией клонариев-оносамов. Вот и сегодня, несмотря на запрет, он вошел в «круг пепла» и попал в то легендарное Си-время, которое иронически именовалось старшими – «когда еще плескались рыбы в ручьях и росли-шумели натуральные леса». Отключив свой эгоцентр мозга от системы, Раль нырнул к «великим коралловым рифам» в режиме осязаемой голографии, в эпоху живого семя-лоно-зачатия. Так далеко во дни пращуров-самионов никто из клонариев-оносамов еще не забирался.

Из песен самионов:

...аааи-уурр-й... гора возрастает к снегу, не ходи туда... ээу-увва... тайна самки за ухом... ооо-ииггу... птица уходит за край... аай-яий...

Селение самионов находилось у подножия – слияния двух высоких зеленых холмов. Холмы сгрудились так, что из глубины долины (если смотреть оттуда) были похожи на груди дородной самки, упавшей навзничь или на пышный зад-круп ее, если представить самку, лежащую ничком. За холмами темнели лесистые горы, уходя-уступая место под небом другим, что были вершинами выше и, наконец, оставались лишь те, на пиках которых белел-розовел-сиренился на закате снег. Сами самионы больше всего боялись, именно, этого закатного часа, когда и в сторону молчаливо темнеющих гор смотреть было страшно и плоская равнина пугала немотно-пространной своей глубиной. Небольшое племя самионов издревле затерялось в середине этих двух великих пространств-возвышений и никто не знал, откуда они сюда пришли-появились. По преданиям неверным и зыбким, как сумерки, самионы появились из влажного лона горы, но другие говорили, что вышли они из вечно открытого брюха гигантской пра-самки, чья голова терялась где-то далеко, за горизонтом, куда сейчас и всегда заходило солнце, и многие считали, что его ежедневно проглатывает эта самая (без конца и начала) мать-пра-самка. В общем, это было всеми забытое, от начала времен, человечье племя меж горами и степью. Сами они не удерживали в памяти события более, чем годичной давности. Кроме того, их дни, бессчетные в своем числе, но почти одинаковые внешне, были заполнены множеством забот о пропитании, легко вытеснявших даже чувство опасности. На их языке всегда ощущался терпкий и острый вкус каждого дня-момента, запах съеденного мяса или корнеплода, сочно и дымно проникал в них, обретая в брюхе приятную тяжесть: стало быть еще один день забот кончился, охота была удачной и скоро можно отходить в селения сна и покоя.

Самионы не умели связно говорить, но в ощущениях великолепно знали все вещи и явления, с которыми встречались-соприкасались и могли много рассказать о них, но по-своему. Ощущения